

Георг Вильгельм Фридрих Гегель

Источник: [здесь](#). Нем. Georg Wilhelm Friedrich Hegel; Из: Aufsatzsammlung Band 1, 1919-1933.

14-ого ноября исполняется сто лет с тех пор как Гегеля унесла холера (1770-1831). Никто из великих представителей классической философии в Германии не имел хотя бы подобного влияния на современников. В последний период своей жизни он правил в царстве духа, как абсолютный монарх. Лишь немногие отваживались восставать против его влияния. Это влияние продолжалось, не уменьшаясь, даже после его смерти, и даже сегодня не совсем исчезло, поскольку речь идёт о логических результатах его учения. Мужички, которые уже сделали себе имя в различных областях духовной жизни, и те, которым ведущая позиция ещё не досталась, сидели у его ног и внимали его словам, полные трепета, как перед оракулом. Его мысли влияли не только на лучшие головы Германии, они стремились и через её границы и находили отчётливый резонанс в России, Франции, Англии, Бельгии, Дании и Италии. Сегодня нам нелегко оценить то могучее излучение мысли хотя бы приблизительно верно. Ещё более странным кажется то, что влияние Гегеля распространилось на людей всех политических и социальных направлений – реакционеров во плоти и вынашивающих будущее революционеров, консерваторов и либералов, абсолютистов и демократов, монархистов и республиканцев, и поддерживающих, и отрицающих право собственности, – все они зачарованно прильнули к сосцам его мудрости. Не только пионеры социализма в Германии (Грюн, Хесс, Маркс, Энгельс, Лассаль) ходили в школу Гегеля; но также и свободные умы, типа Штирнера и Бакунина. В то же время Прудон, как минимум, находился под сильным влиянием его идей, к сожалению, не к собственной выгоде. У большинства это удивительное воздействие объясняется едва ли содержанием идей Гегеля; это был странный диалектический вид его мышления, который пленял и восхищал их. Гегель противопоставил застывшим терминам своих предшественников, Канта и Фихте, идею вечного становления, причём для него было не столько важно охватить вещи сами по себе, но скорее исследовать их отношения к другим явлениям. Он трактовал тезис старого мудреца Гераклита о вечном течении вещей на свой лад и предположил внутреннюю взаимосвязанность явлений. Эта взаимосвязанность проявляется в том, что каждое из них [явлений] носит в себе свою противоположность, которая должна проявиться по внутренней необходимости, чтобы уступить место новому явлению, в своём существе более совершенному, чем первые две формы этого становления. Гегель называл это тезой, антитезой и синтезой. Но так как у него синтеза снова становится тезой нового этапа, то как в природе, так и в истории образовывается непрерывающаяся цепь, отдельные сочленения которой крепко держатся друг за друга в соответствии с вечным божьим планом. «Бог правит миром, содержание его правления, воплощение его плана – это мировая история. Его [план] желает охватить философия; ибо только то, что по нему воплощено, имеет

реальность, что ему не соответствует — никчёмное существование. Перед чистым светом божественной идеи, которая не является просто идеалом, исчезает видимость, будто мир — это безумное, сумасшедшее происшествие. Философия хочет распознать содержание, реальность божественной идеи и оправдать порицаемую реальность».[1]*

Из-за этой идеи Гегеля праздновали как великого глашатая учения эволюции; как нам кажется, не по праву, так как его двусмысленные диалектические карманные фокусы едва ли имеют что-то общее с идеей эволюции. Идея эволюции — это самый естественный результат научного исследования, отвергающего все спекулятивные попытки объяснения природного (действия), даже ожесточённо с ними борется. Она отличается от ранних идей о природе и истории человека главным образом тем, что изгоняет из круга представлений своих последователей всякую мысль о над-земном правлении высшей силы, из чьей творческой воли, якобы, был рождён мир, и ни в природе, ни в истории не может разглядеть направляющую руку божественной воли, которая управляет и ведёт по составленному ранее плану. После этого принципиального отрицания всех антропоморфных представлений, лежащих в основе всех мифов о сотворении, задача исследователя не может заключаться том, чтобы исследовать «божий план», как утверждал Гегель. Всё его устремление было направлено на то, чтобы приблизиться к самим вещам, разгадать вид их отношений друг к другу и разобраться в причинах их существования и превращений. Великие основатели эволюционного учения связывали с этой идеей представление, что все органические формы не существуют сами по себе, как особые общности, но происходят друг от друга, причём так, что все высшие образования вышли из более простых форм. Это движение представляет собой, так сказать, всё содержание истории органического мира и находит своё продолжение в возникновении жизни и развитии различных видов на Земле, чьи постепенные или даже происшедшие в более скором темпе преобразования были вызваны изменениями окружающей среды и внешних условий жизни.

Ни один серьёзный исследователь не попался на замечательную идею — представить себе это движение развития в мудрёном смысле Гегеля, то есть как вечное повторение одной и той же трёхступенчатой схемы, по которой первая форма с неумолимой необходимостью должна превратиться в свою противоположность, чтобы всеобщий процесс мог начаться. Эта вымученная идея, которая работает с тезой и антитезой, не только не имеет отношения к действительным явлениям жизни, она находится также в вопиющем противоречии с собственно идеей эволюции, опирающейся на представление об органическом становлении, и уже только поэтому должна отвергать даже возможность, что один вид мог бы измениться в свою противоположность, как бесполезную спекуляцию нереалистичной фантазии.

Шарль Фурье, который помимо блестящих способностей своего ума располагал ещё и самой неудержимой фантазией, которую только можно себе представить, мечтал о времени (он называл его восьмым периодом цивилизации), где море превратится в лимонад, а акула — в антиакулу, лев — в антильва, волк будет заменён антиволком и т.д. Эти новые формы предоставят себя в распоряжение человеку, как полезные домашние животные. До сих пор никому не пришло в голову зачислить его по этому поводу в ряды великих основателей учения эволюции. Напротив, фантастические сумасбродства великого социалиста даже нанесли его учению некоторый ущерб тем, что удержали многих от серьёзного изучения его

трудов, содержащих множество гениальных мыслей. Это был опять же Гегель, который научил нас мыслить категориями, что вызвало чудовищную путаницу в головах и всё ещё вызывает. Тем, что он целым группам, да и целым народам приписал определённые качества и черты характера, которые можно, в лучшем случае, установить у отдельного представителя, но обобщённо должны привести к безумнейшим выводам. Гегель проложил дорогу бреду наших современных расовых теоретиков и фантастическим выводам бесполезной «психологии народов» и вызвал к жизни то привидение, которое всё ещё парализует мышление многих или сбивает с нормального пути. Что Гегель ещё написал о «философии природы», праве и т.д., сегодня уже давно забыто, но его представление о коллективных понятиях всё ещё гуляет в головах людей и приводит некоторые, сами по себе неспособные умы к довольно смелым утверждениям и чудовищным следствиям, которые проявляются зачастую просто роковым образом.[2]*

Гегель одарил каждый народ, игравший в ходе истории роль мирового значения, особым духом, чьим заданием было привести божий план в исполнение. Всякий «народный дух», однако, является «лишь индивидом в ходе истории», чьему высшему предназначению он должен служить. «Так как мировая история – это представление божественного абсолютного процесса духа в его высших проявлениях, этого восхождения, через которое он добивается правды, осознания самого себя. Воплощения этих ступеней – народные души мировой истории, особенности их моральной жизни, их организации, их искусства, религии и науки. Реализация этих ступеней есть бесконечное стремление мирового духа, его непреодолимое влечение, ибо это подразделение, как и его воплощение – это его суть. Мировая история лишь показывает, как постепенно приходит к осознанию и желанию правды; в нём (мировом духе) начинается рассвет, он находит основные точки, в конце он добивается полного сознания».

Становится немного тревожно в этом мире призраков, в котором кроме различных народных душ есть ещё и «субъективный дух», и «объективный дух», и «абсолютный дух». И все они занимаются своими странными делами, без того, чтобы творец этого гротескного полтергейста (Spuk) хотя бы немного просветил нас о том, чем же этот дух, о котором он так много удивительного может рассказать, на самом деле является. Он просто исходил от предпосылки, что такой дух существует, и возвёл на этом элементарном утверждении самое ненормальное идейное здание, которое когда-либо видел мир. Гегель сам был очень увлечён своим философским открытием. На своих лекциях в Йене он утверждал, что с его учением «началась новая эпоха мировой истории и наступил подходящий момент, когда мировой дух должен освободить себя от всякого чужеродного существа, понять себя как абсолютный дух, создать всё настоящее из себя самого и сохранять его же в своей власти в полнейшей неподвижности».

В этом призрачном мире для человека остаётся мало места. Он существует только в той степени, в какой он служит какому-нибудь коллективному духу средством выражения. По этой причине его роль чётко обозначена – «поведение индивида по отношению к духу народа таково, что оно присваивает себе это субстанциальное бытие, что оно станет его смыслом и грацией... Ибо оно находит бытие народа как уже готовый, твёрдый мир, которое оно поглотило. В этом, в своём деле, своём мире дух народа наслаждается собою и удовлетворён».[3]* Поскольку Гегель утверждал, что в каждом народе, в котором мировой

дух создал себе инструмент для воплощения своих загадочных планов, живёт особый дух, делающий его (народ) способным к своему задуманному заданию, то из этого следует, что каждому из этих народов доверена особая «историческая миссия», заранее определяющая каждое проявление своего исторического действия. Эта миссия – его судьба, его предназначение, сохраняемое только за ним и никаким другим народом, и которое он не может изменить своими силами. Фихте пытался объяснить проповедуемую им «миссию немцев» как особенность их истории. Он приводил при этом смелейшие доводы, через которые время давно перешагнуло; тем не менее, он искал вразумительные причины, которые должны оправдывать эту миссию. По Гегелю же миссия народа – не продукт его истории, наоборот, миссия, доверенная ему «мировым духом», составляет содержимое его истории, и всё это совершается, чтобы дух наконец-то достиг осознания самого себя.

Так Гегель стал настоящим творцом той слепой теории судьбы, носители которой в каждом движении истории видят «историческую необходимость», в каждой цели, которую выдумывали и которой добивались люди, — «историческую миссию». В этом смысле Гегель всё ещё современен, сегодня же всё ещё говорят об «исторической миссии» какой-либо расы, нации или класса, при этом большинство даже не догадывается, что каждое из этих фаталистских представлений, которые действуют так парализующе на человеческую деятельность, коренятся в методе мышления Гегеля. И всё же это — слепая вера, не имеющая ни малейшего отношения к действительности жизни и ничем не доказуемая. Вся болтовня о «необходимости исторического свершения» и об «исторически обусловленных необходимостях» общественной жизни – пустые формулы, надоедливо повторяемые особенно приверженцами марксизма. Что это ещё, как не новая вера в судьбу, порождённая миром привидений Гегеля, только что в этом случае средства производства перенимают роль «абсолютного духа»? А жизнь всё же показывает нам каждый день, что все эти «исторические необходимости» продолжают только до тех пор, пока люди с ними мирятся и не оказывают им сопротивления. В истории вообще нет необходимостей, лишь условия, которые терпят и которые распадаются в пыль, как только человек распознаёт их и бунтует.

Ставшие знаменитыми и обросшие слухами слова Гегеля: «То, что разумно, то реально, а что реально, то разумно», как раз потому и являются лейтмотивом каждой реакции, что поднимают смирение с существующим до принципа и пытаются каждую подлость, каждое недостойное человека условие оправдать неизменностью «исторически необходимого». Это лишь последствие гегелевского очковтирательства, когда именно носители немецкого социализма до сих пор были весьма склонны в каждом общественном зле узреть неизбежное последствие капиталистической экономики, с которым следует смириться, пока не придёт время для изменений или пока, по словам Гегеля, «теза не превратится в антитезу». Что ещё лежит в основе этого убеждения, как не гегелевский фатализм, переведённый на экономический язык? Что ещё, как не современная трактовка гегелевского постулата, что всё действительное разумно? (Люди) смиряются с данными условиями и не чувствуют, что этим убивается дух, штурмующий настоящую несправедливость. Кант поднял беспрекословное подчинение подданных государственной власти до принципа общественной морали и проклял всякий бунт против правительства и его представителей, как достойное смерти преступление. Фихте производил всякое право от государства, он предлагал молодёжь полностью передать государству, чтобы немцам наконец-то было возможно «быть немцами в истинном смысле, то есть гражданами государства». Но Гегель

праздновал государство, как самоцель, как «реальность моральной идеи», как «Бога на Земле». Никто не предавался такому культу государства, никто не вбивал дух добровольного рабства так глубоко в представления людей, как он. Он поднял государственное сознание до религиозного принципа и поставил откровения Нового Завета с восторженными правовыми понятиями государства в параграфах на один уровень: «ибо это теперь известно, что моральное и правильное так же являются божественным и заповедью божьей, и что по содержанию нет ничего более высокого и святого».[4]*

Гегель часто подчёркивал, что за мнение касательно государства он, прежде всего, благодарен древним философам и главным образом Платону. Но в действительности его мечтой было старое прусское государство, это уродство (Spottgeburt), чьи носители пытались уравновесить недостаточность духа казарменной муштрой и бюрократической тупостью. Рудольф Хайм был прав, когда говорил с горькой насмешкой, что у Гегеля «прекрасная статуя античного государства была покрашена чёрным и белым». В действительности Гегель был государственным философом прусского правительства, который никогда не упускал возможности оправдывать его тяжелейшие проступки. Предисловие к его «Философии права» — озлобленная защита благородных прусских условий и проклятие всем, кто осмелился терзать принятое и кто не желает принимать существующее, как вечную правду. Так, он обратился там со всей остротой против йенского профессора Й. Ф. Фриза, которого очень любила молодёжь за либерально-патриотические идеи. Профессор в своём труде «О германском союзе и устройстве германского государства» был настолько глуп, что утверждал, что в настоящем сообществе «жизнь приходит снизу, из так называемого народа». Подобное убеждение было, конечно, предательством «идеи государства», которая, по Гегелю, лишь одна могла подарить народу жизнь и уже поэтому возвышается над всякой критикой, т.к. государство воплощает в себе «моральное целое» и, следовательно, является «моральным в самом себе». Когда Хайм назвал эти нападки Гегеля «научным оправданием карлсбадской полицейской системы и преследования демагогов», он попал точно в яблочко.[5]* Прусское государство особенно привлекало Гегеля уже потому, что он верил, будто нашёл в нём все необходимые предпосылки, которые необходимы для сущности государства. Как Местр и Бональд, великие пророки реакции во Франции, Гегель так же распознал, что всякий авторитет коренится в религии и только в ней находит духовную опору. Исходя из этого открытия, он со всей решительностью отбросил «несчастное заблуждение, когда воображают, что можно основательно сконструировать государство без веры в Бога, как внутреннего принципа всякого мышления, действия и бездействия». Ведь всё его стремление имело лишь одну цель: наитеснейшим образом сплавить религию с государством, объединить обоих в огромном единстве, чьи отдельные члены органически срослись бы друг с другом.

Католичество казалось ему малопригодным для этой задачи и, кстати, именно потому, что оно оставляло совести человека слишком много места. «В католической церкви, напротив, — читаем мы в «Философии истории», — совесть вполне может быть противопоставлена государственным законам. Убийства королей, государственные заговоры и т.п. часто поддерживались и проводились священниками». Это настоящий Гегель; становится всё понятно, когда его биограф Розенкранц утверждает, что мечтой Гегеля было стать Макиавелли Германии. Для государства опасно, когда его граждане имеют совесть, это естественно. Ему нужны люди без совести, лучше сказать, люди, чья совесть настроена на

государственный резон и у которых чувство личной ответственности заменено автоматическим сознанием того, что они действуют в интересах государства.

Для этой задачи, по мнению Гегеля, было пригодно только протестантство, освободившее совесть человека от попечительства церкви, но только ради того, чтобы продать его государству. Ибо этим и только этим исчерпывается «историческая миссия» Мартина Лютера, называвшего себя «рабом божьим», но бывшего лишь рабом государства и его представителей. Только его внутреннее рабство дало ему силу предать дело народа немецким князьям и вместе с ними заложить фундамент новой церкви, которая по молчаливому согласию продалась государству «с кожей и волосами» и провозглашала волю князя, как заповедь господню. Лютер связал религию с политикой; он запер живой дух в тюрьму слова и стал герольдом нового открытия, трактующего откровения Христа в духе государственного резона и посылающего своих приверженцев идти парадным маршем к вратам рая, чтобы приобщиться к вечной жизни.

Поэтому Гегель мог установить с внутренним удовлетворением: «Что, в конце концов, касается умонастроения, то уже сказано, что посредством протестантской церкви произошло примирение религии с правом. Нет никакой священной, никакой религиозной совести, чтобы была отделена от мирского права или даже была противопоставлена ему».[6]* Стоит лишь как следует углубиться в настоящий смысл этих слов, укрывающих в своей хитрой неприметности одно из самых чудовищных мошенничеств, которое когда-либо видела история. Средневековый человек ещё не познакомился с государством в его истинном смысле. Мысль о центральной власти, которая втискивает всякое проявление социальной жизни в определённые формы и ведёт и направляет человека от колыбели до могилы на удавке начальства, была ему чужда. В жизни человека обычай и естественное соглашение с себе подобными играли важнейшую роль. Его представление о праве опиралось на привычку, переданную ему из старины. Его религиозное сознание признавало несовершенство всех человеческих правил, поэтому он скорее склонялся к тому, чтобы во всех делах полагаться на себя и строить отношения с окружающими людьми так, чтобы они соответствовали его моментальным потребностям и старым заповедям взаимности.

Когда зарождающиеся государства стали расшатывать старые права, человек возвысил свой интерес до божьего интереса и сражался против несправедливости, ему причинённой. Это – действительный смысл великих народных движений в эпоху реформации, которые стремились дать «свободе евангелического христианина» общественное содержание. Лишь когда эти движения были утоплены в море крови князьями и дворянами, а «божий человек» Лютер благословлял палачей, подняло голову победоносное протестантство и дало религиозное благословение государству и законному порядку вещей. Так и произошло примирение «религии с правом», о котором говорит Гегель. Новая теология ходила в школу к юристам, премудрость букв убила совесть или нашла ей замену, трон превратился в алтарь, на котором человек был принесён в жертву новому божеству. Право государства стало божественным откровением, само государство – Богом. Гегель понял значение этого процесса до глубины, но не обвинял его; его глаза были слепы к трагедии человека, он видел только триумф нового Бога, восставшего из крови народа. «Это поступь Бога в мире, что государство есть, его основание – это насилие воплощающейся, как воля, разумности. Размышляя о государстве не обязательно иметь перед глазами какое-то определённое

государство, определённый институт, прежде всего надо рассматривать идею, этого настоящего Бога».[7]*

И, тем не менее, этот святитель авторитарного-принципа-любой-ценой сподобился написать в последнем абзаце своей «Философии истории»: «Ибо история мира – это ничто иное как развитие понятия свободы». Но то была лишь гегельянская свобода, о которой он говорил, которая выглядела именно так, как и его «примирение религии с правом». Для успокоения слабых нервов он вскоре добавил: «Однако объективная свобода, законы реальной свободы требуют подчинения случайной воли, поскольку она вообще формальна. Если объективное само по себе разумно, то соответственно должно быть и согласие с этой разумностью, а тогда и наличествует существенный момент субъективной свободы». Хотя смысл высказывания тёмнен, как всё, что написал Гегель, но оно по существу выражает ничто иное, как отказ от личной воли во имя свободы, ведь свобода, которую имел в виду Гегель, была вообще только полицейским термином. Как говорил Робеспьер в своей обвинительной речи против Дантона: «Революционное правительство есть деспотия свободы против тирании!» Адвокат Арраса, ложившийся спать с «рассудком», чтобы просыпаться с «добродетелью», был бы хорошим учеником Гегеля.

Однако было время, когда даже революционно настроенные головы увлекались культом Гегеля. Гейне объявил его «величайшим философом, которого породила Германия со времён Лейбница», а Арнольд Руге, духовный лидер младогегельянцев, назвал его в предисловии к своему переводу «Истории цивилизации в Англии» Баклза «величайшим и свободнейшим умом нашего времени». Суждения Лассаля, Маркса и Энгельса о Гегеле слишком известны, чтобы приводить их здесь. Но предполагаемое величие Гегеля заключалось отнюдь не в произведении действительно великих мыслей, а в его невероятной способности к тёмной, непонятной символике и в его баснословном жонглировании диалектическими понятиями, что действовало на умы восхищающе. Но его понятия были сделаны из каучука, их можно было тянуть во все стороны и придавать им смысл, какой был как раз нужен. Именно это условие сделало его метод таким притягательным для многих в то время, когда в Германии гонялись за метафизическими миражами чисто спекулятивных открытий.

«Гегель – это непостоянство, которое сверкает в тысяче различных воплощений или пёстрых идей»,- сказал о нём один учёный француз.- Он всё отрицает и всё утверждает, так как он видит во всём лишь различные грани и отражения абсолютного. Имя ему — Легион, его родина – везде, куда его несёт дуновение постоянно искомого абсолюта, а его вероисповедание заключается в том, что у него никакого нет... При чтении этой тусклой прозы не получаешь впечатления идеи, не чувствуешь свою увеличившуюся сущность, ни своего усилившегося ума, и непроизвольно думаешь об арабской поговорке: я слышал стук мельницы, но муки не вижу».[8]*

Часто пытались и пытаются ещё сегодня представить содержание учения Гегеля революционным тем, что указывают на критический характер младогегельянства, чтобы доказать, что подобное направление мысли могло питаться только из одного революционного источника. Но это лишь пустое утверждение. Точно так же и с большим правом можно было указывать на то, что довольно большое число убеждённых реакционеров вышло из школы Гегеля. Кроме того, нельзя забывать, что и

младогегельянство перенесло множество реакционных частей в другой лагерь. В большинстве случаев гегельянство было просто пересажено на другую почву, где оно разрастается и сегодня и парализует мышление людей.[9]* Игра Гегеля с пустыми словами, чью бессодержательность он умело скрывал сколь помпезной, столь и непонятной символикой, искусственно пресекла не только в Германии, но и повсюду на десятилетия внутреннее стремление к настоящему знанию. Его учение совратило некоторые способные головы к охоте за тенями праздных спекуляций, вместо того, чтобы приблизиться к действительности и применить сердце и ум к переустройству общественных условий жизни. «Я говорю: человек, который спекулирует, подобен животному на высохшем пастбище, ведомому злым духом по кругу, а вокруг лежит прекрасный зелёный луг». Прусский философ-государственник Гегель мог быть моделью при оттачивании этой жизненной правды Гёте. Действительно, он был всю жизнь ведом по кругу теми духами, которых призвал сам. Тысячи последовали за ним, как за несущим факел познания, и не догадывались, что это был только обманчивый свет, блуждающий над болотами, за которым они гнались и который заманивал их всё глубже и глубже в туманное царство бесплодной метафизики. Ибо не более, чем обманчивым огоньком, был тот диалектический способ мышления, которым надеялись охватить все явления общественной жизни и истории, чтобы можно было их удобно расположить в абстрактной рамке заумной терминологии. И обманчивым огоньком была и остаётся слепая вера в «исторические необходимости» всего происходящего вместе с предрассудком о «исторической миссии» народов, рас и классов.

На великое движение социализма Гегель подействовал в форме марксизма как заморозки на молодые посевы. Он уничтожил горячие жизненные слова Сен-Симона: «Задумайся, сын мой, надо быть воодушевлённым, чтобы совершить великие дела!», тем, что учил людей изгонять свою страсть и прислушиваться к равномерному тиканью часов, выражающему немое движение неизменных законов, в соответствии с которыми происходит всё бытие и небытие в истории. Однако фатализм — могильщик всех идеалов, всякой трепещущей страсти, всякой вспеняющейся силы, всякого творческого воодушевления. Ибо он убивает внутреннюю уверенность, глубокую веру в справедливость дела, которая в то же время является верой в собственные силы. Гегель был таким фаталистом. Поэтому надо бы давно отказаться от того, чтобы праздновать его как «революционного мыслителя». Быть революционером — значит иметь волю выпорить при применении своей силы общественные изменения. А фатализм — это когда смирение с вещами, как они есть. Только фаталист в худшем смысле слова мог выдумать такое: «Что разумно — то действительно, а что действительно — то разумно». Смириться с миром, как он есть, означает реакцию. Ибо реакция есть ничто иное, как остановка в соответствии с принципом.

Гегель был таким реакционером, реакционером от пяток до макушки. Всякое свободолобное переживание было ему абсолютно чуждо, так как оно не вмещалось в узкие рамки его воображения фаталиста. Он был упёртым проповедником авторитарного принципа, ещё худшим, чем Местр и Бональд, ибо он делал политическую машину, раздавливающую людей бесчувственными руками и питающуюся их потом и кровью, сосудом всякой морали. Это именно *Гегель* поднял государство, с которым раньше думали смириться как с «неизбежным злом», на пьедестал божества. В этом его заслуга перед историей.

